

ИВАН КОЛПАКОВ

Мы проиграли

КОГДА Я ВЫРАСТУ — БУДУ
ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВУДИ АЛЛЕН,
ТОЛЬКО НЕСМЕШНОЙ

«СЛЕДОВАЛО НАПИСАТЬ СЛОВА О
ЖУРНАЛИСТЕ «ЛЕНТЫ» КОЛПАКОВЕ, О
РЕДАКТОРЕ КОЛПАКОВЕ, О ВСЯКИХ
ДРУГИХ РОЛЯХ КОЛПАКОВА. НО ЭТО ОПЯТЬ
БУДЕТ НЕ О ТОМ. ЭТА КНИГА, КАЖЕТСЯ,
О ТОМ. НАДО ПИСАТЬ О ТОМ»

ЛИНОР ГОРАЛИК

«И НЕ СОВСЕМ КНИГА, ПОЧТИ ЧЕРТЕЖ —
ДВОРЦА РУССКОЙ ПАМЯТИ, ПОЧТИ
ПРИЗНАНИЕ — МЫ ПРОИГРАЛИ
В СРАЖЕНИИ С ХРУПКОСТЬЮ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ»

Иван Колпаков
Мы проиграли!
Серия «Лента.Ру»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9452989
Мы проиграли / И.С. Колпаков: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-088266-3

Аннотация

Иван Колпаков. Родился в 1983 году в Перми. На протяжении нулевых работал в местных изданиях репортером и редактором. В начале 2010 вместе с Иваном Давыдовым и Маратом Гельманом основал интернет-газету «Соль», был ее главным редактором до закрытия издания в конце 2011. В 2012–2014 гг. жил в Москве и руководил отделом специальных корреспондентов «Ленты. Ру» (самого популярного на тот момент интернет-издания в России). Осенью 2014 переехал в Ригу, чтобы участвовать в запуске проекта «Медуза».

«Экзистенциальный роман Per Se: текст об ожидании, понимании, проживании, смерти»

Линор Горалик

«И не совсем книга – почти чертеж дворца русской памяти, почти признание – МЫ ПРОИГРАЛИ в сражении с хрупкостью собственной жизни»

Илья Данишевский

Содержание

Так хорошо	4
Сёрф	8
Everything In Its Right Place	21
Kid A	22
The National Anthem	23
How To Disappear Completely	24
Treefingers	25
Optimistic	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Иван Сергеевич Колпаков

Мы проиграли

*Хорошо быть живым
не понравиться себе
в синеватой витрине*

Дмитрий Кузьмин «Памяти Андрея Сергеева»

Так хорошо

*Исправленному верить невозможно,
Оно лежит поверх черновика*

Кальпиди

«Люди бывают трех типов – курящие, некурящие и бросившие. Если твой отец лежит в земле – уже нельзя быть совершенно, стопроцентно спокойным и уравновешенным, нельзя из разряда бросивших вернуться в разряд некурящих». В одном из фрагментов, вместе составляющих повесть «Сёрф», Иван Колпаков пишет, что у него вышли уже четыре книги – «и все не о том». Одна – детский научпоп «Путешествия воды», которую «перечитывать почти не стыдно», вторая – полусамиздатовский сборник стихов «Версии», от которого автора, по собственному признанию, «тошнит, как от ведра с жареным луком». Третья – «про греческие пелики и терракотовые статуэтки», подарочный нон-фикшн. Четвертая – авторизованная биография ректора Пермского университета. Иными словами, у прозаика Колпакова книг нет, не выходили, а выходили у того же автора – и понятно, да, в каком смысле «не о том». И тут бы следовало написать (как полагается в предисловиях) слова о журналисте «Ленты» Колпакове, о телеведущем Колпакове, о редакторе Колпакове, о всяких других ролях Ивана Колпакова. И о раздражении (вызванном читательской жадностью), которое у автора этого предисловия вызывает тот факт, что с 2007 года нет, кажется, другой прозы И.К., да и эту, судя по всему, никто не видел. Но это опять будет не о том, это будет затягиванием *не того* — не надо всего этого писать. «Сёрф», кажется, *о том*. Надо писать о том.

Предположим: человек решает рассказать о смерти отца. Человек так твердо решает рассказать о смерти отца, что рассказывает о том, как чувствует себя в ванне; о своих отношениях с изобразительным искусством; о митингах, на которые ходит мать; о любви к тире; о стихах Кальпиди. И о смерти отца: ею набиты до отказа любые пустоты, любые пространства, возникающие между словами, между фрагментами текста. Она заполняет собой negative space текста, промежутки жизни – естественно. Там же, где речь о смерти отца идет напрямую, эта прямота оказывается абсолютной, не допускающей ни экивоков, ни эвфемизмов, ни литературных игр: «Смерть отца не потрясла меня. Все вокруг ждали этого события, бесстыдные. Его никто не любил. Он для всех был обузой. Моя бабка бессильно жаловалась на кухне, каково ей было тянуть обоих – мужа, то есть моего деда, и сына, то есть моего отца. Потом вдруг посмотрела на меня пристально, своими серыми глазами и прошептала: «Я устала». Отец лежал в соседней комнате, в маленьком гробу, а дед – в дальней, скрючившись на кровати, и шевелил губами. Все ждали, когда отец умрет. Всем казалось это логичным. После всего того, что с ним произошло». Вот так, кажется, построен «Сёрф»: как речь человека, который решает (твердо решает же) рассказать о смерти отца, о боли и ужасе, и все ходит вокруг, потому что не может вынести собственной речи, а когда вдруг решается говорить о том, ради чего пришел, – говорит (как кажется собеседнику) все,

ничего не оставляет. И, как только ловит себя на этом, – [начинаются] митинги, стрекозы, любовь к тире; *фрагменты*. Но negative space заполняется черной водой, какие стрекозы (думает собеседник), какие тире? Ну, такие. Любовь – это когда о чем бы ты ни рассказывал, ты рассказываешь об этой любви. То есть здесь – о смерти отца.

Но и для собеседника тема была бы невыносима – а когда она выносима? – и «Сёрф» был бы не просто книгой *«не о том»*, а вообще *не тем* – не-книгой, а страшным, но частным случаем приватного монолога, если бы автор позволил себе полностью поддаться пафосу темы, воспользоваться читательской добротой, захлебываться и задыхаться. Вместо этого Колпаков постоянно работает с уровнем патетики в тексте как с неким огромным, тяжелым, страшным инструментом, который приходится (сознательно? с огромным усилием?) обуздывать – иначе он сплющит текст в неинтересную, плоскую лепешку. Каждый раз, когда тема, кажется, подразумевает нарастание эмоциональной амплитуды, бешеный мах, Колпаков силой заставляет текст удерживаться невысоко, двигаться ровно – или плавно уходить вниз. Умер дед: *«Похороны в деревне – шоу пострашнее Верки Сердючки»*. Жизнь *«уперлась рогом»* в твою семью, *«едва кишки не выпускает. <...> На сколько хватит сил? – черт возьми, я спрашиваю. – Так вот, на сколько хватит сил?»* – и следом: *«Фу-фу, подуйте»*. Можно было бы считать это хорошо отработанным приемом (чистый пафос скучен, к постоянному плачу привыкаешь), но тут, кажется, история более важная: Колпаков работает не с читателем, а с собой, контролирует не читателя, а себя, не позволяет этот плач, поминальный вой – себе: *«Я ненавижу инфантильных людей и целенаправленно окружаю себя ими. Они хорошие, но я знаю про них правду: им нельзя доверять, потому что они с легкостью втыкают нож в сердце, а потом ссылаются на состояние аффекта. Только аффект у них – естественное обстоятельство жизни»*.

Эта постоянная тема – ощупывание своего сознания, контроль над ним – дает роману (хотя «Сёрф» повесть, конечно, но какая он повесть, не по объему же судить) еще одно важнейшее свойство: этот роман о том, как хорошо быть живым. Так непрестанно ощупывают языком больной зуб – неужели выносимо? Да, выносимо, и не просто выносимо – как же прекрасно, как же хорошо, что этот зуб болит *так*, потому что он мог бы болеть иначе, болеть *невыносимее*. Экзистенциальный роман per se: текст об ожидании, понимании, проживании смерти (такие случаются нередко) оказывается текстом о проживании жизни; в смысле – о ежесекундном житии в ней; такие нечасто встречаются. *«Мне сейчас так хорошо, я прочитал уже «Перевал» и на очереди «За перевалом»*; *«Я люблю смотреть, я использую зрение на всю катушку. И я рад, что спустя двадцать лет мое зрение не отказывает мне в моих маленьких желаниях»*; или, скажем, фрагмент о счастье, целиком состоящем из пара, вечернего воздуха, чистого полотенца: *«Не моя ванна, чужая, хоть и мытая, хоть и привычная мне, я был счастлив в этой ванне»*.

Поразительна эта способность (она же, кажется, панацея) говорить себе «я живой» (собственно, тексты о ней и составляют positive space романа, то, что говорится вслух) не только в микро-, но и в макроявлениях, в ровном интересе – буквально – ко всему живому: *«Сегодня Первомай. В Москве четырнадцать митингов. Я видел уже два. <...> Завтра пойду еще на какой-нибудь митинг»*. Все поймать, все сохранить, потому что все – свидетельства; того, что ты – невероятно, невообразимо, но правда же? – живой: пусть даже оно неживое, пусть неживым его сделал ты: накалывание бабочек, ловля стрекоз (и за два шага до этого – небольшое па, упоминание «Других берегов», пахнущих дорожной лаковой шкатулкой; другой игры, игры в воспоминания о семье и детстве, ставших *неживыми*).

Живое движется – или, по крайней мере, что-нибудь движется внутри него (делятся клетки; умирают клетки; «бегут соки» – такое было, умершее нынче, выражение, очень удобное, потому что и правда помогало говорить про все живое сразу). «Сёрф» самим названием подразумевает, что он – роман движения (частью по воле волн / по воле невыносимой логики

создания negative spaces, огибания и приближения); фрагментарностью же – что он едва ли не травелог, записки, сделанные в пути. Но: дорога, по которой движется вселенная этого текста – лента Мебиуса, пытающаяся притвориться простой полоской, свернутой в кольцо. Сам Колпаков в некоторый момент пишет, что «возвращение – логичная точка в конце предположения»; где есть возвращение, там есть порядок, ничто не заканчивается ничем, а чем? Но весь роман, с его возвращениями, опрокидывает это утверждение: это путешествие, в котором нет лицевой стороны пути – и другой, недосыгаемой, изнаночной, по которой можно было бы при желании пройти совсем иной, может быть – дуально отличный от твоего путь. В «Сёрфе», кто бы и куда ни шел, как бы ни пытался перейти на другую, «изнаночную» сторону жизни – оказывается здесь же: житель умирающей деревни Куеды, отец, уходящий от семьи, герой, пытающийся отдалиться от отца, дед, который, казалось бы, пережил сына. *«В сборнике «Наши мехмат» одна статья называется просто офигительно – «Ретроспектива как источник перспективы». <...> Может ли жизнь человека захлопнуться подобно книге? Смерть ли должна быть последним словом на ее последней странице? Даже если так – я хочу знать весь текст, от начала до конца. <...> «Ретроспектива как источник перспективы». Обратной перспективы или прямой – это уже детали».* Если двигаться по ленте Мебиуса, от ретроспективы как источника перспективы некуда деться: на другую сторону не скользнешь, не просочишься на изнанку, где все могло бы быть иначе. *«Вот она – недостающая часть в моих рассуждениях: я вижу, как шаги отца сменились моими шагами, и узнаю походку. Я вычислил его, засек, зафиксировал в самом себе. Теперь он уж не уйдет от меня, не шагнет за окошко, не выпьет яда забвения. Да ведь и я от него не уйду».* Именно из-за этого, кажется, Колпакову удастся избежать одного из нехороших, обесценивающих текст соблазнов, которым поддаются авторы фрагментарной прозы: даже там, где описываемое событие готово с озорными брызгами плюхнуться в формат анекдота, Колпаков этот анекдот не создает (скажем, в притче про опаздывающего попутчика, инспектора ГИБДД, который стеснялся предложить автору гнать машину побыстрее). В логике романа, движущегося по ленте Мебиуса, анекдот недопустим по причинам логического характера: ничего не заканчивается настолько, чтобы допустимо было подвести под событиями панч-лайн. Плата за отказ от восприятия, разделенного удобными панч-лайнами на удобные для прожевывания кусочки, оказывается высока – идущему по ленте Мебиуса тяжело не сбиться с подсчета пройденных кругов.

«Раньше у нас был Сережа, теперь будешь ты», говорит бабушка. Сережа – это отец. В этой точке обрывается другая круговая стратегия – стратегия кружения вокруг самой большой темы. Если до сих пор человек, может быть, медленно подбирался к ране (стрекозы; «Перевал»; тире), чтобы залечить ее или хотя бы перебинтовать, то теперь он назначен этой раной. «Сёрф» – роман и о назначенности тоже, о назначенности, для которой не требуется подтверждения бабушки. Скажем, дед, бывший *большой человек* в своей деревне Куеда; на похоронах перечисляют его назначения, следовавшие год за годом (как если бы это были *предназначения*, как если бы каждый год ему было назначено кем-то быть, что-то делать; все расписано: *«В 1945-м – добивал гитлерюгенд в Берлине. До 1950-го – воевал с японцами. В 1950-м женился на Таисии Ивановне»*). Но важнее другое: дед был назначен быть дедом, отец – отцом. Колпаков пишет: *«Что меня интересует сейчас – можно ли читать судьбу родителей по линиям на своей руке? То есть не судьбу, конечно. Но можно ли пройти хотя бы по краям их истины, роаясь в истине своей?»* Это речь – о раз и навсегда, намертво сшитой *назначенности*, назначенности кем-то друг другу. (Может ли, кстати, иметься в виду – в некоторый момент повествования – что когда отец пытается выйти из семьи, он рвет эти назначенности всех всеми всем?) *«Вот она – недостающая часть в моих рассуждениях: я вижу, как шаги отца сменились моими шагами, и узнаю походку. Я вычислил его, засек,*

зафиксировал в самом себе. Теперь он уж не уйдет от меня, не шагнет за окошко, не выпьет яда забвения. Да ведь и я от него не уйду».

Текст, написанный в 2007 году, после четырех книг *не о том*. Повесть, представляющая собой роман, близкая к поэме (как близки к поэзии некоторые прозаические тексты Станислава Львовского, Дмитрия Давыдова, Дениса Осокина, Ольги Зондберг; как близки к ней эссе Марии Степановой или статьи Елены Фанайловой). «...с тех пор, как я занимаюсь журналистикой, от меня ушла (тут я должен просить прощения у читателя за то, что использую это слово) муза. Точнее, я ее сам прогнал. <...> Вот чему меня выучила журналистика – собранности. Выпечке текстов. Не говорю – профессионализму, это другое, это больше, чем просто умение писать тексты без дыхания (еще раз – прошу прощения) музы за плечом. Но собранности – точно. Вот и сейчас – музы нет рядом. Сок «Сокос» есть, мобильный телефон – да, определенно. Музы – нет. Ушла от неблагодарного».

И, добавляет Колпаков по совершенно другому, гораздо более важному поводу, «никогда и никого с тобой нет рядом в это мгновение».

Линор Горалик

Сёрф

Родителям, с любовью

1.

Воздух в комнате отца плотный, насыщенный, как в банке с консервированным временем. За окном августовский ветер решительно качает старые тополя, то и дело норовя опрокинуть вольготно рассевшихся на их тонких ветвях серых ворон. Но форточка прикрыта, кажется, что по эту сторону стекла даже пылинки не кружатся – и тюль, в противовес абстрактной невесомости, тяжело ощущает свою музейную весомость.

Кровать накрыта голубым покрывалом, тихо жужжит и помигивает единственным припухлым красным глазом огромный морозильник, в котором бабка ныкает свои запасы на случай непредвиденной войны – судя по размерам морозильника, война будет долгой. Маленький холодильник, насильно переделанный в шкаф (Саратов-II), при этом испуганно молчит. Огромное зеркало, занимающее всю дверь патриархального гардероба, по-прежнему показывает меня в выгодном рассеянном свете. За входной дверью, под простыней (как вертикально поставленный покойник) прячется этажерка с книгами.

У отца на маленькой полке: фотопортрет Высоцкого, того Высоцкого, который – герой советского кинематографа, но не опальный поэт-песенник; моя фотокарточка, где я – длинноволосый выпускник университета в обнимку со старшей, любимой племянницей; маленькие наручные часы с мутным стеклышком, сквозь которое заметно, что золотистая минутная стрелка на конце своем слегка погнулась; тупой бритвенный станок; кусок пластмассового крючка для одежды (происхождение неизвестно); нераспечатанная еще, душу сжимающая, пачка сигарет Alliance. В правой деке магнитофона стоит кассета – можно нажать кнопку play и слушать с того места, на котором ее остановил отец.

2.

С тех пор, как отца не стало, прошло полгода. Я жил без него, а потом понял, что не умею без него жить. «Жить и другие глаголы, лишённые смысла». Так сперва называлась эта рукопись. Начатая, по выражению Черепанова, на «пике тоски», она завершается так, как завершается.

Я честно расскажу, как все было.

3.

Я – пустышка. И все вокруг – пустышки. Весело звенящие, точно новенькие никелированные кастрюльки, скачущие с выпученными глазами навстречу смерти. Я вижу ту деревянную коробку, в которую положат мое усохшее тело с желтой кожей, с нелепо замазанными тональным кремом черными кругами под глазами, с полопавшимися на шее и щеках сосудами. Кто-то бросит сверху горсть холодной земли. Она, слегка подпрыгнув на дешевой обивочной ткани, рассыплется на куски.

Не было меня. И вас не было.

Смерть отца не потрясла меня. Все вокруг ждали этого события, бесстыдные. Его никто не любил. Он для всех был обузой. Моя бабка бессильно жаловалась на кухню, каково ей

было тянуть обоих – мужа, то есть моего деда, и сына, то есть моего отца. Потом вдруг посмотрела на меня пристально, своими серыми глазами, и прошептала: «Я устала».

Отец лежал в соседней комнате, в маленьком гробу, а дед – в дальней, скрючившись на кровати, и шевелил губами.

Все ждали, когда отец умрет. Всем казалось это логичным. После всего того, что с ним произошло. Я не хочу перечитывать его письма, полные дурацких жалоб на людей, обстоятельства и погоду. Мелкий почерк на желтой бумаге – неизвестно, где он отыскивал эти старые листки из школьных тетрадей, будто нарочно, будто хотел разбудить во мне жалость. И будил во мне жалость, но, видимо, не настолько, чтобы я мог заставить себя писать ему хоть раз в месяц. Я не мог писать ему и раз в полгода.

За пару недель до смерти я послал отцу последнее письмо с неловкими извинениями за длинную паузу в переписке. Я не уверен, что отец его прочитал. Он мало что понимал перед смертью. Вот он сидит, рядом со своей кроватью, худой, с обвисшей кожей, с нестриженной, торчащей во все стороны бородой, смотрящий прямо перед собой вываливающимися от боли глазами. Кто он мне?

Я любил его. Однажды ночью я долго не мог уснуть и все представлял себе, как было бы хорошо отбавить немного лет от моей жизни, чтобы прибавить к его. Мое сердце сжималось от боли, от четко очерченной перспективы – его смерти. В то время отец еще был молод и полон сил. Он мог принимать решения, хотя предпочитал плыть по течению. Главное – я предчувствовал. Я представлял себе, как он умрет, и беззвучно рыдал. Но я не проронил ни единой слезы в день его похорон. Я оплакал его при жизни.

4.

Он приходил два раза в месяц, по субботам, около пяти часов вечера, в белом плаще, бородатый, какой-то неземной, незнакомо пахнущий. В возрасте трех-четырех лет всех близких людей можно узнать по запаху. Я прекрасно помню, как пах фартук моей бабушки.

Фартуки бабушки менялись, а запах оставался. Помню, какими духами пахло от коричневого с бежевыми ромбами джемпера моей мамы, поверх которого она носила моднейшие по тем временам электронные часы-кулон. Помню, как пахло от моей сестры, вечно таскающейся по пьяным компаниям. Помню, как пахло от моих друзей: от Ваньки – краской, а от Димки – чаем, он пил заварку прямо из чайника; от Дениса всегда пахло чистой одеждой.

Запах этого человека мне был неизвестен. Он неловко раздевался в прихожей, гладил свою дурацкую бородку, исподлобья глядя на меня, когда я прятался за бабушкиной ногой, и в итоге забывал убрать ботинки, оставляя их посреди коридора. Он сразу проходил в большую комнату, располагался в одном из кресел, складывал ногу на ногу, пространно рассуждал о чем-то с мамой, гулко смеялся над своими шутками. Потом ему словно все надоедало, взгляд его становился пустым, он рассеянно поднимал с пола свежий «Огонек», в котором я уже подрисовал каждому персонажу на каждой фотографии усы, бороды, шляпы, курительные трубки и рога. Он листал журнал, попутно, не глядя, угукая маминым репликам. Действие продолжалось минут сорок, после чего он, шаря по карманам и озираясь, поднимался с твердым намерением уйти.

Иногда, перед самым уходом, он доставал из каких-то одежных закровов деньги и отдавал их маме. Всегда – новые пятирублевые купюры.

Признаться, я не сразу понял, что он – мой отец. Я думал, что мой отец – другой дядька, пониже ростом, тоже бородатый, толстый, который однажды приехал из Соликамска и подарил мне деревянный конструктор. Конструкторы я любил больше всего на свете. И этого дядьку тоже. Соликамск казался неведомым городом чудес, в котором жила моя мама (почти принцесса). Я любил Соликамск, хотя еще ни разу там не был. Дядьки, не дарившие мне

деревянный конструктор и ходившие в белых плащах, пусть и достаточно элегантных, меня мало интересовали.

5.

У меня две сестры, и обе – еврейки. Но при этом они не приходятся друг другу сестрами.

Я евреев вообще очень люблю, и мне хотелось в этом году справить светлый праздник Песах (верно?), но мне никто не принес кошерной мацы, и я ел яйца с куличами, потому что все мы воспитаны в русле православной традиции.

6.

Сегодня я был в пивбаре «Гвоздь», больной, простуженный, грустный. Вдруг увидел девочку за соседним столом, у нее тонко выщипаны брови, а грудь – маленькая (выщипана?). Я смотрел на нее три секунды и улыбался, обычно девочки отвечают мне взаимными улыбками, но эта заржала, как гнедая, и показала мне средний палец левой руки, прошептав (я прочитал по губам): «Ты – обсос».

Это грубость, а я не знаю, как реагировать на грубость.

7.

Есть ли в жизни тайна? Очевидное объяснение всему, элементарный ответ, как в сложной логической задаче, который ищешь час, другой, третий, а потом он вдруг открывается тебе – и ты хохочешь, бьешь себя по лбу ладонью и кричишь: «Черт, да как же я не догадался? Как?!» Возможно ли нарисовать этот ответ на бумаге? Возможно ли? И нужно ли? И зачем задавать себе этот детский вопрос, ответа на который нет?

Стоит ли ворошить то, что было, подводить итоги, анализировать поступки – свои и чужие? Можно ли обойтись без этого, жить настоящим, жить в сейчас, жить в эту конкретную минуту, секунду? И нужно ли? Действует ли закон превращения количества в качество? Памяти – в понимание? И зачем задавать себе эти детские вопросы, ответа на которые нет?

И вообще – что, черт возьми, происходит в нашей жизни? *Is there anybody out there? Out there? Out there?*

8.

Пришло письмо от моего английского приятеля-эколога.

В конце – приписка от робота: «Only print this message off if absolutely necessary – and only on recycled paper».

Так и поступайте с этими записками, пожалуйста.

9.

Мама сегодня поинтересовалась: «Кто ходит во все эти кофейни?»

Я говорю – понимаешь, мама, сейчас не принято приглашать в гости знакомых. Сейчас поход в гости – это нечто интимное, нечто выходящее за рамки повседневных ритуалов и привычек. Я говорю – понимаешь, мама, времена изменились, сейчас уже нет тех тайных обществ, которыми были во времена вашей молодости ваши маленькие компании, а если и

есть, то они предпочитают собираться в пабах, в ресторанах, в ночных клубах, чтобы совместно пить, перемывать офисные сплетни, смеяться и обсуждать последний выпуск «Комедии клуба». Я говорю – понимаешь, мама, где-то же надо встречаться менеджерам среднего звена с другими менеджерами среднего звена, которые почувствовали тяжесть внутри живота и взаимную сексуальную заинтересованность, где-то им надо проходить через разговорно-цветочную официальную прелюдию. Я говорю – понимаешь, мама, чай здесь стоит дешево, и зимой можно уже не обжиматься на батареях в парадных. Я говорю – понимаешь, мама, кто-то сюда ходит, и здесь вечерами яблоку негде упасть, даже в будни, а уж про выходные и думать забудь – нужно бронировать места.

Я говорю – понимаешь, мама, мы жили раньше так, что не могли принимать у себя гостей. Мы стеснялись нашей бедности, убогости нашего жилища, вечно пьяного дядьки. Я говорю – понимаешь, мама, я не знаю, как эти и что у них на уме, когда они приходят в кофейни, но мне тут проще принимать гостей. Они не видят моего грязного белья. У них нет на меня компромата. Я говорю – понимаешь, мама, это все из-за медийности нашего бытия, из-за информации, которую все собирают про всех. Я говорю – понимаешь, мама, знакомых теперь много, а друзей – совсем мало, и не на кого положиться, и никому о себе не хочется рассказывать сверх того, что написано в резюме.

Я говорю – понимаешь, мама, даже мы с тобой сидим в этой кофейне, хотя могли бы встретиться у меня дома или у вас.

Я говорю – понимаешь, мама, я и сам уже ничего не понимаю. Наверное, все большее число жителей нашего города могут позволить себе изысканные сорта кофе и редкие чаи, понимаешь мама.

Таким был мой ответ.

10.

Неделю назад купил новый Esquire. На днях сидел вечером на кухне и читал в нем статью Курта Воннегута про то, как он торговал когда-то автомобилями Saab, продавал не ахти как, и потому, мол, шведы ему не дали Нобелевскую премию. Там еще написано было, что ему восемьдесят с чем-то лет, и фотография – такой старичок, седой, щетинистый. Я подумал – а что, Курт Воннегут, ни одной книги которого я не прочитал, еще не умер?

Курт Воннегут, ни одной книги которого я не прочитал, умер сегодня. В свете этого со бытия мне даже кажется, что заметка про «Саабы» была неплохая.

11.

Сегодня сформулировал то, о чем думал вчера двадцать две минуты вечером, прежде чем начал смотреть фильм «Остров», а потом, так и не сложив в слова, бросил.

С каждым годом моя собственная персональная шкала эмоций уменьшается в размерах. Мне достаточно пережить однажды какое-то чувство для того, чтобы оно уже не возникло во мне никогда. В основном, и мне хочется надеяться на то, что это касается именно чего-то плохого, что случилось со мной, чего-то страшного, запредельного.

То есть – отчаяния; страшного, невыносимого одиночества; или – осознания собственного бессилия – такого, что кишки навыворот; ну или – унижения, просто такого унижения вроде самой страшной публичной порки; ярости и гнева до набухших сосудов. Это все со мной уже было, и, оказываясь в схожих обстоятельствах, которые меня вроде бы должны заставить вновь все это пережить, я уже никак не реагирую. В этом смысле я, слава Богу, становлюсь все менее уязвимым. В повседневной жизни я эмоционален, как и прежде, но

уже не ломаюсь. Кстати, это не закалка. Во мне будто умирает что-то, что раньше отвечало вот тут – за отчаяние, а вот тут – за невыносимое одиночество.

Причем я же все хорошо помню те чувства, которые меня охватывали: я о них пишу, я о них вспоминаю, я их могу внутри себя пережить, но весьма и весьма отстраненно.

Мне интересно только: касается ли это любви, или любовь – величина постоянная?

12.

Однажды меня озарило. Мама разговаривала с бабкой, упоминая мою фамилию в третьем лице, она что-то бурно рассказывала, а бабка слушала ее и кивала, немного склонив голову к плечу так, как умела делать только она. Но речь шла явно не обо мне. Этот некто, обладающей моей фамилией, потерял работу, а я потерять работу не мог, поскольку даже в детский садик не ходил – просто сидел дома и развлекал сам себя книгами и телевизором. Этот кто-то задолжал моей маме денег, хотя обещал принести их еще два месяца назад. Об этом ком-то, у которого была моя фамилия, мама говорила с раздражением и пренебрежением. Она упоминала мою фамилию, и мне было от этого неприятно.

– Мама, ты жалуешься бабе на меня? – спросил я ее через некоторое время, когда смог преодолеть страх узнать какую-то сокровенную правду.

– Нет, фантик, я говорю про твоего папу, – выдохнула мама.

И вдруг я увидел, как ускоряется кинолента памяти, показывая мне быстро сменяющиеся кадры приходов и уходов того бородатого дядьки в белом плаще, вот он гулко смеется, вот он шарит по карманам, вот он выуживает оттуда пятирублевые купюры – новые и гладкие, вот он смотрит на меня, а я прячусь за бабушкину ногу, и я не знаю, чего он от меня хочет, а сам я ничего от него не хочу. Я хочу щелкать переключателем старого черно-белого телевизора и грызть парафинового слона.

От него я не хочу ничего.

13.

Впервые эпиграф с цитатой из какого-то дурацкого путеводителя мне встретился, кажется, у Мишеля Уэльбека. Точнее – нет, это был не путеводитель, а разговорник. И эпиграф соответствующий: «О чем вы спорите? О чем вы думаете?» или что-то в этом роде, то есть две или три расхожие фразы, часто используемые в разговоре. Мне очень эта затея понравилась, я даже где-то уже использовал этот прием, и мне он до сих пор не надоел – искать эпиграфы в неожиданных книгах и вставлять их тоже как-нибудь неожиданно в текст.

В этом смысле едва ли не идеальный эпиграф – просто иностранное слово с переводом, со всеми возможными коннотациями, или маленькая глава из толкового словаря, которая как бы сообщает читателю о неоднозначности предлагаемого произведения и возможных вариантах его прочтения. Хотя множественность толкований и множественность переводов, если развивать эту мысль, содержат одно-единственное послание – феномен не-понимания, или *lost in translation*.

Со времен Вавилонского столпотворения не написано ни одной книги, которую можно было бы правильно понять.

14.

Кстати, многие не любят Мишеля Уэльбека. Причин для этого предостаточно: его, например, переводят не очень хорошо, к тому же иные носятся с ним – действительно – как

с писаной торбой (ну вот я, например, меня даже перевод не смущает). Но он многократно, тысячекратно лучше Фредерика Бегбедера, у которого тоже есть корона типа главного французского писателя современности.

Бегбедер, конечно, написал пару неплохих вещей. Если вышвырнуть всю эту левацкую пошлятину из «Windows on the World», то получилась бы вообще превосходная книга, со множеством тонких, умных рассуждений, несмотря на конъюнктуру, определившую ее появление на свет. Но. (Тут без объяснений).

В своей последней книге «Возможность острова» Мишель Уэльбек очень смешно рассказывает, что журнал GQ (а его русская версия мне очень нравится), оказывается, – журнал для педерастов («Джи Кью» сначала ориентировался не на педерастов, скорее наоборот, на мачо в квадрате: девки, тачки, чуть-чуть военных новостей; правда, через полгода они вдруг обнаружили, что среди покупателей журнала огромный процент геев, но для них это была неожиданность, они вряд ли рассчитывали именно на такой эффект»).

В той же «Возможности» имеется еще одна хорошая цитата – «Естественно, мы переспали в первую же ночь; так всегда и бывает в серьезных отношениях».

По-французски «Возможность острова» звучит вообще как музыка – «La possibilité d'une île». Книгу эту я прочитал год назад, а сейчас просто вспомнилось.

15.

Мне ни разу не удавалось переспать в первый же день с теми девушками, с которыми я потом вступал в какие-то отношения.

Выходит, у меня не было серьезных отношений? Экий я, оказывается, старомодный. Но мысль верна, я так чувствую.

16.

А это ведь Томас Вулф сказал, что «Каждый человек – это остров»? Удивительно, я даже не вспомнил эту фразу, когда читал «Возможность острова».

17.

«Красота есть обещание счастья».

Есть клип у группы Air, в котором разговаривают две жевательные резинки – основная тема к «Virgins Suicide», но я этот фильм не смотрел, хотя очень хочется. Было время, когда мне сама песня эта очень нравилась, и я слушал ее очень часто, хотя о чем она? Там простые и чудесные слова вроде

*I'm a high school lover,
and you're my favorite flavor,*

и вот эти вот жвачки – кто их придумал в клипе снять? Молодцы какие, ей-богу, лучше ведь и не придумаешь.

А в Англии нет темного или светлого пива. Есть – с пузырьками и без пузырьков.

И вот на ночь еще один перевертыш. Счастье есть красота обещания.

18.

Мама говорит, это счастье – пережить день, когда Юрий Гагарин полетел в космос, счастье быть со всеми в толпе, в той толпе, беснующейся, нацепившей на головы дурацкие бумажные ракеты, целующейся и ликующей. Счастье.

Но мама, говорю я, представь себе, полетел бы Герман Титов. Человек с именем еще более прекрасным, чем Юрий Гагарин. Герман Титов – это же музыка, это техно, по одним только этим буквам можно нарисовать портрет. А можно и не рисовать, ты ведь хорошо знаешь, какое у него лицо? Великолепное, благородное, мужественное лицо, лицо настоящего героя. Герман Титов написал книгу, которая называется «700 000 километров в космосе», и умер в один год вместе со своим веком – в 2000-м. Вот таким был Герман Титов.

Мама вздыхает и проводит пальцем по столу, стирая небольшую кляксу от кофе. Молчим.

Но вообще ты знаешь, мама, говорю я наконец, я тоже очень люблю Юрия Гагарина. Вот быть такого не могло, чтобы он полетел – с этим его дурацким развязавшимся шнурком, деревенским прошлым и мелким ростом, с этой его дежурной офицерской улыбочкой. Не могло такого быть, а вышло именно так.

И Титов в роли первого космонавта смотрится так же неуместно, так же неуместно, ну как кто? Ну как Пирс Броснан.

А я концерт Пахмутовой и Добронравова, посвященный Гагарину, вчера смотрела, говорит мама. Вслушивалась в слова, и они оказались такими хорошими.

19.

«Отсутствие» в том варианте, в котором оно вышло на альбоме «Негоро», – одна из моих любимых песен у «Мегаполиса». Причем мне почему-то казалось, что текст принадлежит Бродскому, потому что Олег Нестеров спел несколько его стихотворений, включая «Рождественский романс», «Там» и что-то еще. Меня можно понять, тем более что «Отсутствие» вполне мог написать Бродский: и по теме, и по стилю на него похоже.

Так или иначе, я начал разыскивать текст песни в интернете, искал сначала по «Мегаполису» (безрезультатно), потом по Бродскому (безрезультатно, естественно). Потом нашел-таки занимательную ссылку, там заметка про какого-то великого поэта Юрия Поликарповича Кузнецова. Я, наверное, демонстрирую свое глухое невежество, но я о нем впервые слышу и его «выворачивающие душу пророческие стихи» и «беспрецедентную поэму вселенского масштаба» «Сошествие во ад» (название уже пугает) не читал.

Там еще написано так: «Кузнецова всегда отличала тяга к эпичности, предпочтение символа метафоре и ощущение вселенского трагизма. Он воспринимал предназначение поэта в мессианском духе, напоминая, что «творцы эпоса были певцами, а пророки – поэтами». Однако он не был склонен преувеличивать долю сакральной подоплеку в своих стихах, прямо заявляя: «Моя поэзия – вопрос грешника. И за нее я отвечу не на земле»; и судя по этим строкам, Кузнецова мне читать ни фига не охота.

В этой же заметке написано, что «запредельно минорное «Отсутствие» – песня о высшей степени богооставленности», красиво, конечно, но в отрыве от остального творчества Кузнецова – как-то не в кассу.

Пошел дальше гулять по интернету, обнаружил, что «Отсутствие» – стихотворение аж 1967 года (сам Кузнецов родился в 1941-м). В другом месте: «поздний Кузнецов жизнь приравнивает к смерти», таков, мол, результат его поэтических поисков, что, кстати, очень похоже на Бродского. В какой-то момент мне начало казаться, что проще найти не издавав-

шиеся никогда дневники подростка-Мамардашвили, чем текст этого «Отсутствия». «Отсутствие» в интернете отсутствует. Короче говоря, я все-таки его нашел, потратив битый час. Я читаю и знаю, что:

*Ты придешь, не застанешь меня
И заплачешь, заплачешь.*

...

*Стул в моем пиджаке
Тебя сзади обнимет за плечи.
А когда ты устанешь,
Он рядом всю ночь просидит.*

20.

Считается, что каждый человек проходит через особые периоды, во время которых он пытается подвести промежуточные итоги своей жизни и наметить ориентиры на оставшееся время. Как правило, они именуются кризисами – как в положительном смысле (известно, что кризис – единственный и естественный способ развития), так и в отрицательном (всякий кризис сопровождается стрессом).

Типичный пример – «кризис первой четверти жизни» (это заголовок книги некоего Адама Б.), который разомкнул известную с допотопных времен цепь «пубертатный кризис – кризис среднего возраста – кризис позднего возраста», вклинившись где-то между пубертатом и средним возрастом.

Кризисом первой четверти жизни называют метания людей в возрасте около 30 лет (тут, кстати, нестыковка: выходит, что человек живет лет этак 120, раз 30 лет – первая четверть жизни), разрывающихся между карьерой и семьей, юностью и зрелостью и т. д. – смысловой ряд понятен, и продолжать его не нужно.

Но не мечется ли человек всю жизнь? Не пребывает ли он в возрастном кризисе постоянно, каждое мгновение своей жизни, потому что жизнь – и есть процесс взросления, плавно переходящего в старение? Разве ножницы между/между не клацают ежесекундно, сводя с ума и не давая продыху?

Я привык, я приучил себя постоянно подводить итоги. Каждый вечер, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, каждое десятилетие – рисовать мелом черту, подсчитывать дебет с кредитом, сводить данные в одну таблицу. Я так живу. И не могу сказать, что мой банк постоянно лопается от денег. Отнюдь. Иногда он пуст, временами случается кризис перекредитования. Снижается поток клиентов, теряется ориентация и чутье – во что вкладывать, на чем играть – на понижении или на повышении.

В конце концов, надо честно себе признаться: подведение итогов не дает ни грамма ясности. Ни одна диаграмма, ни одна таблица не делает уравнение «жизнь умножить на икс = счастье» более-менее понятным. Да что там, даже сформулировать верно это уравнение невозможно. Если «жизнь умножить на икс = счастье», то получится ли счастье разделить на икс, чтобы получить жизнь? Нет. Если мыслить в гуманитарном дискурсе, то формулируется это по-другому: «Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И опять – нет очевидной логики в определении, как нет его в ленинском «Учение Маркса истинно, потому что оно верно». Ведь ни у кого нет возможности проверить, как бы оно работало, если бы жизнь давалась кому-

нибудь дважды. Или, допустим, годы прожиты цельно, в противовес «бесцельно», – от этого будет не мучительно больно? Может быть. Может, ради этого стоит прожить годы цельно.

Резонно спросить себя: а как это – прожить жизнь цельно? Я подвожу итоги, я стучу деревянными счетами – живу ли я цельно? И ведь жить цельно – совершенно не значит жить счастливо.

Ну и напоследок. Мысль – очевидная, и непостижимо, как в голову раньше не пришла. Человек – не остров. Человек – полуостров.

21.

Часто задаю себе вопрос – как изменилась моя жизнь с тех пор, как в ней появилась журналистика? С ходу на него не ответишь, разве что можно неопределенно промычать – э-э-э, ну, хм, целиком и полностью изменилась. Это тем более странно, что я к журналистике в своей жизни отношусь со скепсисом. Про себя я не думаю: «я – журналист», для меня это как будто временная инкарнация. Раньше я вообще определенно считал, что – пройдет и это. Теперь такой уверенности нет. Теперь понятно, что журналистика меня и поит, и кормит, и одевает (и не только меня), что делать это дело у меня пусть немного, но все же получается, а иногда даже очень получается. Теперь понятно, что кроме текстов меня почти ничего в жизни не интересует, а вот выйдет ли из меня писатель – еще большой вопрос.

Но вся правда еще и в том, что я стал другим человеком вне зависимости от журналистики. Я просто стал другим человеком, а обстоятельств, способствующих этому, было много.

Если же говорить о вещах более конкретных, то с тех пор, как я занимаюсь журналистикой, от меня ушла (тут я должен просить прощения у читателя за то, что использую это слово) муза. Точнее, я ее сам прогнал.

Меня всегда тошнило от типично журналистских рассуждений по поводу того, что я, мол, творческая личность, я-де музу жду, отъебитесь от меня, приходите завтра, нет вдохновения. Нет вдохновения – ищи другую работу. Заметки надо писать каждый день, вне зависимости от вдохновения. Особенно, если фамилия у тебя не Гиляровский или Парфенов. Сел – и написал. К себе, по крайней мере, я всегда так относился. Надо – делаю. Сажусь и пишу. Есть вдохновения – нет вдохновения: без разницы.

Вот чему меня выучила журналистика – собранности. Выпечке текстов. Не говорю – профессионализму, это другое, это больше, чем просто умение писать тексты без дыхания (еще раз – прошу прощения) музыки за плечом. Но собранности – точно.

Вот и сейчас – музыки нет рядом. Сок «Сокос» есть, мобильный телефон – да, определенно. Музы – нет. Ушла от неблагодарного.

22.

В один прекрасный день ты просыпаешься и понимаешь, что тебе не стать рок-звездой. Не написать культовый роман, и не культовый тоже не написать. Не выиграть войну. Не полететь в космос. В тебе нет никакой уникальности, а все то, что ты про себя думал – фуфло, выдумка. В английском языке есть аналог нашему «не имею представления» – I have no idea, мне очень нравится, очень верно описывает это ощущение: проснуться уставшим, словно после долгой затяжной пьянки, которая длилась несколько дней, и вдруг, неожиданно, в утреннем свете увидеть грязь повсюду, окурки и пепел на столе, батарею пустых бутылок, небритых сокамерников. То, что с вечера имело коннотацию радости, да что там – счастья, с утра лишено всякого смысла. Никогда нельзя перечитывать утром то, что написано вечером.

В один прекрасный день ты просыпаешься и видишь в этом утреннем свете свою жизнь – бессмысленное нагромождение событий, бесцельно сделанных дел, а все то, о чем мечтал, кажется невероятной, невероятной глупостью, такой, что зубы болят, как от кипятка.

Никого и никогда нет рядом с тобой в это мгновение.

23.

Были времена, когда отец еще интересовался событиями моей жизни. Он смущенно улыбался, когда я приходил к нему в гости, и задавал мне всегда один-единственный вопрос, вместо приветствия: «Со щитом или на щите?» Я улыбался в ответ и отвечал когда как – ведь бывало по-всякому.

Сам отец уже тогда все чаще бывал на щите. Я не спрашивал – это было ясно и так.

Вышло так, что Митя, старший сын последней жены моего отца, постоянно слушал группу «Кино». С тех самых пор, как я впервые оказался у них в гостях, а это было году в 1988-м, – и вплоть до середины 90-х. В памяти все причудливо перемешалось: когда я вспоминаю, как отец раз за разом задавал мне этот вопрос, кажется, что фоном звучат «Красно-желтые дни»: «...и я вернусь домой, со щитом, а, может быть, на щите, в серебре, а, может быть, в нищете, но как можно скорей». «После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей».

Пожалуй, это самые светлые воспоминания об отце.

24.

Моя мама не похожа на коммунистку. Она следит за собой, из всех сил старается хорошо одеваться (и у нее получается), выходя на улицу, зажмуривается и забывает на какое-то время о нескладной своей жизни. В мире стареющих подростков она не выглядит чужой, но хитрость в том, что если не выглядишь чужим в мире стареющих подростков, значит, точно увяз по уши в этом дерьме.

Каждый год 22 апреля она просыпается рано, готовит завтрак, одевается, «красится» и едет на трамвае на митинг, посвященный очередному дню рождению Ленина. «Кто-то ходит на футбол, кто-то в ночной клуб, а кто-то на митинг», – говорю я ей. Она улыбается и соглашается – «надо же где-то проораться». Маму снимают телекамеры, она дает интервью местной оппозиционной листовке, звонит мне и с гордостью пересказывает, что с ней случилось. «Слава Богу, у нас разные фамилии», – добавляет она, смеясь.

25.

Удивительно, но факт: в моей жизни, наконец, начался период обдумывания. Я как главная героиня кинофильма «Москва слезам не верит» в самом финале, головой опершись на руку: «Как долго я тебя ждала». Всю зиму я мучился от отсутствия мыслей, от неспособности моей их внятно сформулировать, изложить. Задать самому себе вопросы и ответить на них. Я, вместе с тем, относился к этому философски, полагая, что если ничего не думается, значит, надо просто впитывать. Я впитывал честно, что мог, что не мог – отторгал (отрыгивал), но временами бесился. Я устал от этого.

Теперь проще: нарисовав в воздухе невидимый штрих-пунктир (обожаю это слово) позади себя, я выдохнул и увидел, как разжимаются немые губы моего сознания. Я снова могу думать.

26.

Поначалу он ничего не значил для меня. Он сделал мою жизнь колченогой. Неловкой и неудобной. Он забирал меня на выходные, обрекая «отдыхать» вдаль от своего двора, от своих друзей, от кузнечиков в траве около помойки, от бабки, то есть лишал меня на время того, что я любил. Не потому что Любил, а потому что так любилось.

Вместо этого я смотрел телевизор, вынужденно дружил с его новыми «детьми» Олей и Митей, читал какие-то сомнительные книги, слушал какую-то чужую музыку. Ночью у меня неизбежно болел живот от его стряпни, и я, ужасно стесняясь и ежась от холода, пробирался по коридору в туалет. Мама говорит: он отлично готовил, но по-моему он готовил отвратительно.

Он курил на кухне, читал романы, которые печатают в журналах (с продолжением в каждом номере, ненавижу все это), в основном не обращая на меня внимания. Я не мог назвать его «отцом», я просто говорил ему «ты» и избегал обращений. Однажды в деревне, пьяный, он жаловался по этому поводу своей сестре, и тогда я впервые узнал о том, что он вообще что-то чувствует. В другой раз, под Новый год, он вдруг обнял меня крепко, нетрезво, и просил, чтобы я о нем не забывал, чтобы звал его «папой». Больше такого не случалось.

Он был интеллектуальным гегемоном. Он требовал читать только то, что читал сам, слушать только то, что слушал сам, смотреть только то, что смотрел сам. Все остальное подвергалось обструкции – безжалостной и убедительной. Неведомо как, мытьем и катаньем, он стал для меня духовным эталоном; его вкус казался мне идеальным, его советы – обязательными к исполнению. Он выбил из меня всеядность и воспитал во мне избирательность. Не знаю как – мы редко виделись. Я боялся его так сильно и так уважал, что в итоге полюбил.

Ему потребовалось всего несколько лет, чтобы избавиться от всех черт, которые я в нем возвышал и пестовал как уникальные. И это было страшно.

27.

Сегодня, разговаривая с Алексеем Черепановым, задумался.

Есть сюжет, который разъезжен сценаристами и литераторами до состояния глубокой деревенской коледи: человек умирает от тяжелой болезни, его хоронят, человек при этом такой молодец, и так он жил в последнее время и умер, что у всех на похоронах лица, изображающие грустное счастье, – все рады, что он был, и грустят, что он ушел. Очень альтруистичный сюжет, неизменно излагаемый с предельной верой в торжество человеческого духа над смертью и злом.

Последний раз встретился с этим сюжетом в «Веселых похоронах» Улицкой, «Большой рыбе» Бартона и еще в одном американском фильме, который тоже называется «Веселые похороны», не знаю, кто режиссер.

А в жизни, как правило, бывает не так, и даже наоборот. Сплошные излом да вывих, боль, страдания, попытки удержаться за край, до сломавшихся под основание ногтей. *После* – очень быстро забывают.

28.

Тоскливое обстоятельство бытия: чтобы жить по-человечески, не нужно быть богатым. Но и бедным быть – никуда не годится. С обеих сторон – край: ненависть, отчуждение, подлость. С обеих сторон стреляют; те, кто посередине, тоже падают. Тоскливое обстоятельство.

29.

Меня трогают книги, фильмы и музыка. Иногда даже картины и – часто – фотографии. В отношении восприятия искусства я чрезвычайно сентиментален.

Но в жизни я очень черствый человек. Я сушу свои эмоции и накалываю их на иголки словно бабочек, я храню их в сухом прохладном месте. Где-то глубоко внутри.

30.

Вот есть группа Dire Straits. Несколько хороших песен, может, они и написали, но в основном творчество какое-то невразумительное, такое, что даже непонятно, зачем оно и для кого. Зато название группы великолепное – Dire Straits, «затруднительное положение», причем, имеется в виду в основном финансовый смысл, если я ничего не путаю.

В 1980-е в СССР тоже было много групп с классными названиями: чего только «Вежливый отказ» и «Объект насмешек» стоят.

А сейчас – говно какое-то. Раз Franz Ferdinand кажется вершиной оригинального.

31.

Я немного о Ельцине напишу.

Что меня поразило – многие позвонили друг другу сообщить об этом или послали смс с коротким текстом «Умер Ельцин» (мне две таких одинаковых пришло – от сестры и от Дениса Корнеевского), причем как-то очень по-родственному, что ли. Такого не бывает, когда умирает какой-нибудь писатель или общественный деятель, или актер, которого любит вся страна.

Мне он никогда не нравился. Но меня чуть оторопь не взяла, когда Денис написал, что он умер (по-моему, почти никто еще об этом не знал). Верно то, что, каким бы он ни был, его жаль. А еще вернее другое: мне в 1990-м было шесть лет, а в 1999-м – пятнадцать. Между шестью и пятнадцатью годами я был маленьким мальчиком. Я буду всегда тосковать по этому времени, а значит, буду незаметно тосковать и по Ельцину.

Мне даже страшно думать мысль о том, что умрет Горбачев.

32.

Москва – чудесная. Митингует. В день, когда приехал, напротив американского посольства тусовались «Местные» с «Нашими», собирали кровь для солдат в Иране. Предложили нам – мы отказались сдавать, сославшись на природную бледность и малокровие. На мало-душие не сослались, хотя оно тоже имелось в виду. Ввиду всех этих обстоятельств ушли быстро, поправлять здоровье. За углом купили литр шотландского виски, бутылку колы, картофельную запеканку с мясом, майонез, йогурт на утро. Поправили здоровье: запеканку запекли, виски выпили, майонез украли лесбиянки.

На следующий день у эстонского посольства «Наши» и «Местные» жаждали уже эстонской крови. Мужчина с бородой сказал, что забитый таллинским ОМОНОм мальчуган – герой, и мы его никогда не забудем. Вася Якеменко был небрит и, по-моему, пьян. Денис утверждает, что трезв, потому что, мол, «Вася – никогда». Встретил там пресс-секретаря «Местных» Машу, с которой познакомился накануне. Маша ментально нравится Денису, а мне нет, у нее ноготь некрасивый на большом пальце левой руки. Маша из Подмоскovie,

и ей тяжело – у нее за спиной движение «Местные» вместе с их тупым лидером Сергеем Фатеевым. Сергей Фатеев повсюду, и он – истинно – лидер подмосковных гопников.

Сегодня Первомай. В Москве четырнадцать митингов. Я видел уже два. Один – на ВДНХ. Мужчины и женщины шли ровной толпой, с красными и желтыми флагами. Другой – шуточный – видел на Чистых прудах, его организовал Гарри Каспаров. Граждане кричали «Назад, в СССР», «Дашь вертикаль», «Ура Суркову». Никто их не понял, и особенно никто не понял, что митинг – шуточный. Милиционеров спрашиваем – «Это кто?» А они – «Олени какие-то».

Завтра пойду еще на какой-нибудь митинг.

33.

Рыбенок «А».

Что ж, пусть будет так: начну повествование отсюда, из «FAQкафе», что в Газетном переулке. Сажу на том же низком красном кожаном диване с черными морщинистыми боками, как в прошлый раз, когда мы здесь пили с Денисом пиво. В «FAQкафе» происходило всякое: только я смотрю в разрисованный черными лошадьми, рыбами, деревьями, кустарниками и ирландскими надписями неясного содержания потолок и никак не могу припомнить – что. Начало, смелюсь предположить, многообещающее, но обещать ничего не могу: будет скучно.

Я расчленю этот труп, твержу я себе, в ближайшие минуты. Действовать следует методично, по хронологии, от первого трека – к последнему, надев наушники и отрезав себя от соседней трескотни, которую невольно тянет записывать (что неправда, все присутствующие – студенты, так что ничего интересного), и руки тянутся к перу, перо к бумаге, все. Стоп. Едем в собственном направлении.

Everything In Its Right Place

Таким должно быть начало. Начало должно быть словом. И слово это – everything.

Этот трек навсегда испорчен (ли?) фильмом «Vanilla Sky»; под эту слабо искрящуюся электронную музыку просыпается герой Тома Круза, на автопилоте включающий свой плоский телевизор и направляющийся в ванную комнату. Глядя на себя в зеркало, он обнаруживает седой волос – и вырывает его щипцами, чуть поморщившись.

Я помню другое. Я, сонный, замерзший, иду дворами от улицы Дружбы к улице Тургенева, год 2001-й, зима, дома обволокло инеем, шарф изнутри, где он прилегает к подбородку, обмок от влажного дыхания, я лишь твержу:

Yesterday I woke up sucking on a lemon

Yesterday I woke up sucking on a lemon

Yesterday I woke up sucking on a lemon

Никого вокруг, точь-в-точь, как в «Vanilla Sky», и все у меня еще впереди.

После выхода альбома «OK computer», которым я некоторое время восхищался, отец сказал мне: «Господи, какая жуткая, невыносимая нудятина этот Radiohead», и, Господи, – ты свидетель – отец не слышал «Kid A». Интересно знать, что бы он сказал на это?

Kid A

Да, отец, что бы сказал ты на это, *standing in the shadows at the end of my bed*, как не стоял никогда? Ты же говорил, что *настоящий мужчина никогда* не будет слушать мелодию «Воздушной кукурузы» (именно так пафосно и глупо это и было произнесено тобой, глядящим, как под «Воздушную кукурузу» отрываются олухи мужского пола в какой-то телерекламе), а я лишь хохотнул про себя, у меня дома – пять версий «Воздушной кукурузы». Перемешалось все чертовски. Перемежалось все чертовски: мои бесконечные монтажи с ночевкой, съемки, колики в животе, кареты «скорой помощи», и между, ослепляющими цветными вспышками, я видел, как *the rats and children follow me out of town*, а я убежал. 4:44 – вот длина этой композиции.

The National Anthem

Стоит ли говорить, что именно этот трек стал моим гимном в те времена? Я ждал его, начиная с первых нот всего альбома, подгадывая, чтобы он звучал именно в тот момент, когда я на окоченевших ногах подходил к грязнобежевой двери редакции и нажимал не слушающимся меня деревянным пальцем на кнопку звонка. Входил, а в уши мои лилось:

*Everyone
Everyone around here
Everyone is so near
It's holding on*

Впрочем, уже отпустило.

Я знаю каждый звук, знаю, когда в методичный гулкий бит вмешаются медные трубы, посухому – без огня и воды; «Kid A» – последний альбом, изученный мной досконально, последний альбом кассетной эпохи. Закончившейся, и черт с ней.

How To Disappear Completely

Наконец, вступают в полной мере и гитары, тихо журчащие, льющиеся в уши так же, как льется тонкая струйка воды, пущенная на край раковины, чтобы не мешала спать. Вот ключевой момент альбома, так думаю я сейчас, потому что нет ничего для меня более завораживающего (точнее и не скажешь) в настоящий момент, на сегодняшний день – СЕЙЧАС, то есть СЕЙЧАС, чем мотив (трижды и громогласно – «Ха!») отсутствия.

*I'm not here
This isn't happening
I'm not here...*

и чуть дальше:

*The moment's already passed
Yeah it's gone
And I'm not here
This isn't happening*

«Вышел, весь вышел, не знаю, когда и придет» («Отсутствие»).

[illegible]

Treefingers

no lyrics – instrumental song none – instrumental song

Один умник пишет, что «Kid A» – неудача, причем сокрушительная. Вернетесь ли вы к нему спустя полгода, захотите ли его услышать когда-нибудь еще? Для вящей убедительности альбом сравнивается с «Meddle» (Pink Floyd), который я люблю много больше, чем какие-нибудь «Animals» или «Wish You Were Here», или, трижды сплюнув, «the Wall» и «Dark Side».

Впрочем, да: к моменту «Treefingers» ветви «Meddle» и «Kid A» начинают переплетаться тесно – до полного цитирования. В какой-то момент кажется: сейчас два мыльных пузыря, вальяжно парящих в воздухе, коснутся друг друга своими маслянисто переливающимися сферами – и лопнут с тихим пшиком, которым не напугать и комара.

Представим же себе электричку, время полдника, небе в окнах розовеет, солнце уменьшается в размерах, мимо проносятся холмы с пожухлой, серой после зимы травой, с покосившимися деревянными домами, с убогими коммагами, с напрочь отсутствующими жителями (вот что всегда меня поражало в этом законном пейзаже), лишь изредка проедет мимо грязный трактор, тархтение которого не различить из-за мерного стука колес, или пробежит собака, беззвучно лающая летящему мимо составу.

Шесть лет прошло, я снова Kid A.

Optimistic

Названием этой песни Тому Йорку не удастся нас обмануть. Ничего оптимистического – *the big fish eat the little ones*, а где-то на 1:40 скачанный мной из сети трек в подтверждение тезиса начинает шипеть, пятнадцать секунд ничего не разобрать. Музыка, вслед за «Отсутствием», простите, «How To Disappear Completely», совершенная. Но в «How To Disappear Completely» даже название звучит идеально, чего об «Optimistic» сказать нельзя – социальная направленность текста выставляет трек за двери той прекрасной комнаты, в которой мы оказались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.